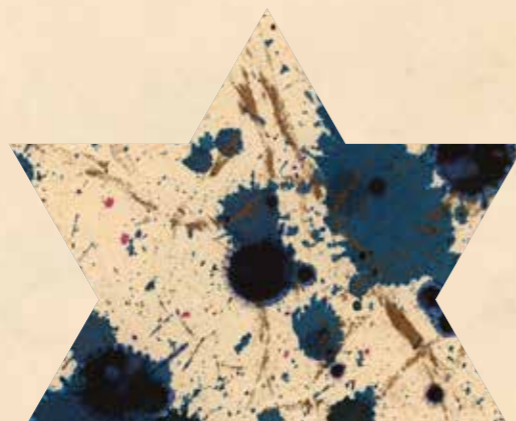
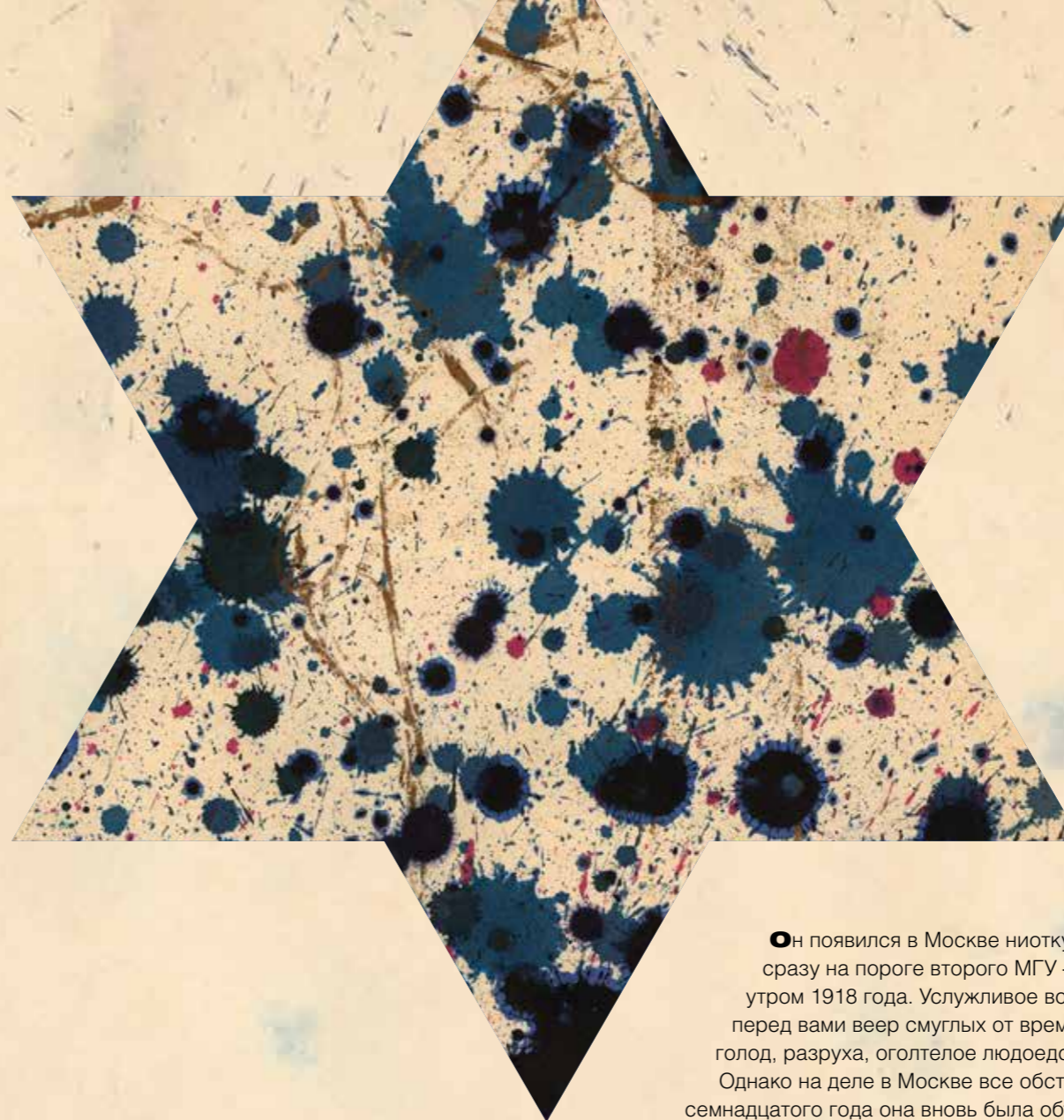


марина степнова

Женщины Лазаря

отрывок



Он появился в Москве ниоткуда, словно был поглощен Богом сразу на пороге второго МГУ — хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года. Услужливое воображение наверняка уже разложило перед вами веер смуглых от времени мрачных дагеротипов — холод, голод, разруха, оголтелое людоедство, ужас, братоубийство, тиф. Однако на деле в Москве все обстояло не так уж плохо. С марта восемнадцатого года она вновь была объявлена столицей — правда, не очень ясно, какого именно государства, но зато торопливый переезд правительства из Санкт-Петербурга гарантировал отсутствие на улицах пирующего на трупах воронья. В театр имени Комиссаржевской на Аристофановскую «Лисистрату» валила отнюдь не опухшая с голоду публика, футбольная команда «Замоскворецкого клуба спорта» выиграла первенство города, а на теннисных кортах «Петровки» царил Всеволод Вербицкий, актер МХАТа, душка, красавчик, взявший в том же восемнадцатом году первое место на первом теннисном чемпионате революционной Москвы.

В моду — с легкой руки Свердлова — входили приятно поскрипывающие кожанки для обоих полов, добыть с рук можно было все что угодно, и скуластые брюнетки все так же играли глазами и коленками, как в прежние, мирные и, пожалуй, даже скучноватые времена. Перебои с продуктами, близость немцев и толпы более или менее пьяной солдатни не казались несомненными предвестниками Апокалипсиса. Скорее уж это были неизбежные издержки великого перелома: что-то, связанное столь же досадно и тесно, как прелестный дачный вечер и комары, влюбленность и женитьба, масленица и жирная, уютно свернувшаяся за грудиной изжога.

Впрочем, обломков судеб и нехитрого человеческого мусора в Москве тоже образовалось преизрядно: свежесвершившейся революцией сорвало с места не то что целые сословия — народы. Особенно много

было евреев — вот уж кому Советская власть поначалу и сгоряча дала решительно все. Ошалевшие, нелепые, неприкаянные без привычной черты оседлости, они потянулись в столицу — не то мыкать своего невозможного иудейского счастья, не то удостовериться лично, что — кончено, отмучились, которые тут временные? Слазь! Самые пронирыльные и сметливые уже привычно прилаживались, приспособлялись, притирались — кто к торговлишке, кто к стремительно обесценивающимся деньжатам, кто к невиданным прежде должностям, потихоньку, помаленьку, как говаривал зоологический антисемит и по совместительству великий русский писатель, — тихими стопами-с. Впрочем, некоторым приспособляться не было ни малейшего прока, поскольку лучшие сыны еврейского народа сами были участниками и вдохновителями русского бунта — и, надо сказать, бессмысленными участниками и беспощадными вдохновителями. Кстати, именно они стали и самыми первыми жертвами выпущенных на волю демонов, когда — спустя несколько ярких прерывистых лет — гигантская имперская свинья с хрюком поднялась из вековой лужи и принялась равнодушно пожирать собственных поросят, не разбирая особо, какие из них кошерные, а какие — не очень. Но в первые советские годы — ах, каким они были святым и неистовым воинством, эти юные комиссары, эти древние сыны Авраамовы! Неподкупные, фанатичные, безжалостные, прекрасные в своем идиотическом героизме, именно они придали русской революции тот отчетливый иудейский привкус, от которого и десятилетия спустя сами евреи яростно плевались — кто ядом, а кто и самой настоящей кровью. Это, как говорил академик Линдт, смотря с какой стороны рассудить. Впрочем, сам Линдт не принадлежал ни к торговому, ни к комиссарскому сословию, да и вообще, признаться, находил в своем еврействе очень мало толку и проку. Иудеев он считал пугливым и мирным народцем с крайне неудачной исторической судьбой. Ну подумайте сами — веками мелко торговать и мелко же унижаться, жить на узлах, ночами вздрагивать и жаться, зная, что, как ни старайся, при первой же заварушке все равно выпрут со всеми манатками за порог. Да еще и по шее накостыляют. Просто так — чтоб под ногами не путались и чесноком своим не воняли.

— Знаешь, Лазарь, еврей-антисемит — это еще гаже, чем монахиня-шлюха! — морщился Чалдонов, один из отцов-основателей современной гидро- и аэродинамики, академик, сияющий столп советской науки и такой коренной русак, что никакого паспорта не нужно. Только глянь на непропеченный нос, бесцветные брови и общий склад простодушной бревенчатой физиономии, и сразу — как в быстрой прокрутке — увидишь всю немудреную историю российских хлебопашцев, с ее гиканьем и свистом, каторжной работой и таким же каторжным,

словно подневольным весельем. Бесконечный запой, бесконечные зимы, бесконечно выводящие одну и ту же надрывную ноту зазябшие за околицей волки, да помирающий под забором мужик с башкой, проломленной первобытным колом. Тараканы, вонь, дикие песни, русская тоска...

— Да бросьте, Сергей Александрович, какой же я антисемит! — скалился Линдт, выставляя крупные ловкие зубы. — Я просто выступаю за справедливость. Как можно называть великим и богоизбранным народ, который бездарно проебал все на свете, включая собственный Храм, и потом тысячи лет питался исключительно слезливыми воспоминаниями? Они даже толкового культурного наследия не сумели создать!

— Лазарь, Бог с тобой, а Библия? — пугался Чалдонов, он был аж 1869 года рождения, но просветительский дар и крепкие кулаки дьячка, вбивавшего в тупоумную деревенскую паству богословие и боголюбие, не утратили для него педагогической убедительности даже к 1934 году.

— А Библия-то как же?

— Какая Библия, Сергей Александрович, я вас умоляю! — Линдт смеялся уже в открытую. — Да ее кто только не писал, вы еще скажите — Уланишады или Тора! Я вам про культурное наследие говорю, а не про религиозные бредни. Где у ваших иудеев великая литература? Где живопись? Архитектура где?

Чалдонов мысленно крестился и мысленно же бормотал про «хлеб наш насущный даждь нам днесь» — родные, успокаивающие слова, почти не имевшие смысла, но словно елеем питавшие самые заскорузлые душевные горести и раны. И в унисон ему неслышно и невидимо молились — хоть и на другом языке, но все тому же Богу — поколения линдтовых предков, тихих скитальцев, отчаявшихся вечных жидов, действительно не создавших ни сложносочиненных дворцов, ни масштабных полотен, ни пышножопых скульптур — ничего, что жаль было бросить, отправляясь в очередное изгнание. Но именно это — непрестанное и горькое — молитвенное устремление так пропитало собой всю мировую культуру в целом, что из каждого угла торчали то тоскующие еврейские очи, то не менее тоскующие еврейские носы. Они — то есть, тэфу ты Господи, вы, ну, конечно, вы — и есть всему разумному и цивилизованному божественная перво-причина и духовный первоисточник. Съел, Лазарь?

Линдт пожимал плечами — гадостей, а уж тем более религиозных, он сроду не ел. Чалдонову иногда казалось, что Создатель просто поторопился запихать гениальную линдтову сущность в первое попавшееся земное тело — словно Ему самому не под силу было удерживать эту самую сущность в руках. Ну как будто печеную картошку, раскаленную, обугленную, с лопнувшим сахаристым бочком, которую сперва честно перебрасываешь из ладони в ладонь, пытаясь остудить, а потом все равно

роняешь в невидимую ночную траву, пропади ты пропадом, такая горячая — сил нет, ну хоть не в коровью лепеху угодила — и на том спасибо.

Подвернувшееся тело оказалось унизительно маленьким, щуплым и жилистым, так что продрогший ушастый солдатик, охранявший вход во второй МГУ в ноябре 1918 года, сперва принял Линдта за беспризорника — благо, лохмотья на том были самые выдающиеся, как из Малого Императорского театра. Побираться будет, смекнул красноармеец и почти ласково приказал: — Вали отсюда, жиденок, тут и спиздить-то нечего. Одни ученственные господа. У них у самих жрать нечего. — Я к Чалдонову Сергею Александровичу, — вежливо, как взрослый, объяснил жиденок. И твердо потребовал: — Доложите, пожалуйста.

К Чалдонову Линдта проводил секретарь физико-математического факультета (с естественным, математическим и химико-фармацевтическим отделениями). На самом деле факультета и секретаря как бы не существовало, потому что весь факультет целиком — со всеми отделениями — еще находился в будущем, а секретарь, напротив, чтобы не свихнуться, хронически пребывал в своем уютном прошлом университетского приват-доцента — с верным жалованием и приличными званию духовно-нравственными исканиями. Однако Линдт, не знавший этих обстоятельств, не ощутил в ситуации ровным счетом ничего безумного или гофманианского. Впрочем, он вообще был чужд пустым размышлениям о тщете всего сущего и истерически-эзотерическим закидонам. В этом смысле он был не русский и, уж конечно, не интеллигент. Просто крепко стоящий на земле гений — причем гений в самом биологическом смысле этого слова. Классическая патология головного мозга. Честно. Наверно, какая-то редкая мутация. Я не виноват, что так получилось.

Услышав за дверью скребущиеся и совершенно дворняжки звуки, которыми секретарь кафедры обычно предварял свое унылое появление, Сергей Александрович Чалдонов недовольно закричал. Сергею Александровичу Чалдонову было некогда. Вообще-то ему было некогда уже почти тринадцать лет — примерно с 1905 года, когда он — блестящий, между прочим, математик — на свою голову согласился стать директором Высших женских курсов. И понеслось: дрова, попечители, расширение, доклады, охваченные гормональными бурями курсистки — замуж, дуры, замуж — срочно! Но теперь тогдашняя суета казалась Чалдонову приятной послеобеденной дремой. Потому что директор Высших женских курсов при батюшке-царе — это одно, а вот ты попробуй, мил человек, за месяц превратить эти самые Женские курсы во второй МГУ — да при новом революционном правительстве, которое по неопытности само не знает, чего хочет, но требует при этом — будь здоров. При помощи нагана.

Деликатно поцарапав лапкой дверь, секретарь засунул в кабинет плешивую голову. Чалдонов с тоской отложил в сторону протокол № 77/113 заседания коллегии народного комиссариата по просвещению. Протокол предписывал «преобразовать Высшие Женские Курсы во II Московский Государственный Университет, сделав его смешанным учебным заведением, но не считая его вновь создаваемым Высшим Учебным Заведением».

В этой бумаге отвратительным было решительно все — желтоватый цвет, шероховатость, невыносимый для потомственного крестьянина казенно-плебейский тон («ассигновать на содержание курсов в виде аванса 1/12 представленной ими сметы»). Но ужаснее всего был список присутствующих на коллегии и абсолютно неведомых Чалдонову людей. Д. Н. Артемьев, В. И. Калинин, М. Н. Покровский, В. М. Познер и Д. Б. Калинин были еще хоть как-то выносимы. Но фамилия Ленгник, которая разом отдавала и зубной болью, и свифтовскими непроизносимыми гуингами, причиняла Сергею Александровичу прямо-таки физическое мучение. По счастью, заботливый ангел-хранитель избавил хронически не высыпающегося Чалдонова от совсем уже несносных подробностей — имени Ленгника (Фридрих Вильгельмович) и его партийных кличек (Куриц и Кол). Иначе валяться бы будущему академику и лауреату на паркете нетопленного директорского кабинета — с собственноручно простреленной башкой...

— Да что вы там мнетесь, Павел Николаевич? Заходите. Что там? Очередное предписание сверху?

— Нет, Сергей Александрович. Не предписание. Тут к вам пришли, — сообщил секретарь, по-прежнему пребывая между коридором (тыльная часть) и чалдоновским кабинетом (голова). В каком-то смысле это тоже была привычная ему позиция между прошлым и будущим.

— И кто же это, черт возьми? — не сдержался Чалдонов, который зависшего меж двух миров секретаря по-человечески, конечно, очень жалел, но на работе, милстсдарь, все же надобно работать. Да-с! Работать! Несмотря ни на что!

Секретарь замешкался, не решаясь хоть как-нибудь классифицировать оборванного подростка, который, несмотря на очевидную вонючость и немытость, держался с замечательным веселым спокойствием урожденно богатого и свободного человека.

— Передайте Сергею Александровичу, что у меня есть вопросы по динамике неголономных систем, — негромко подсказал Линдт. Опорки на нем красовались такие, что о самих ногах лучше было и не думать.

— Э-э-э-э, — отозвался секретарь, чем окончательно решил судьбу советской науки, потому что соскучившийся Линдт ловко отодвинул приват-доцентскую задницу, преграждавшую ему дорогу в светлое будущее, и без доклада вошел в огромный чалдоновский кабинет.